

## БАЙКАЛЬСКИЕ БЫЛИ

Когда-то давно, в отроческие годы я испытал истинное ликование души. Меня взяли на катер, в каюте которого мне предстояло пересечь Байкал. Море было взволнованным, и волны, плеща, забрызгивали иллюминатор, оставляя на стекле крупные капли. Катер покачивало на волнах, мерно урчал дизель, берег за кормой уходил всё дальше и дальше, пока не исчез совсем. Я, вопреки запрету, поднялся на палубу. Лицо опухнул свежий ветер моря, и я, представляя себя капитаном, ухватился за леера, пристально вглядываясь в синеющий фарватер, полный неизвестности и романтики. Окрик командира вернул меня в каюту, но моё ликование от этого не угасло, напротив, я возмечтал стать капитаном дальнего плавания. Велико было впечатление, пережитое мной тогда...

После мне много раз приходилось подниматься на борт больших и малых кораблей, испытывать жестокий шторм, выворачивающий всё нутро наизнанку, нести вахту вперёдсмотрящим до наждачной рези в глазах, но подобного первому ощущению морской романтики, которое захлестнуло и переполнило душу, я уже не испытывал никогда.

Я изменил своей мечте, и теперь мне совестно перед тем мечтающим парнишкой, который хотел стать капитаном дальнего плавания и которому чудились пальмовые рощи и сказочная Индия.

*Пусть кораблей тогда не видел я,  
И было пусть до них, как до звезды,  
Но чудилась мне сказочная Индия  
И пальмовые рощи, и сады...*

Временами и сейчас мне нестерпимо хочется подняться на борт какой-нибудь уютной “посудины” и оставить родной берег. Можно себе представить, с каким трепетом я вышел в море на рыбацком катерке и с какой жадностью всматривался в бурлящую сферу Байкала. В ноябре редкий день бывает без шторма, но, как говорится: “Погоды ждать — моря не видать”.

Мы вышли в море навстречу ветру и быстро падающим вечерним сумеркам, имея на борту перетягу сетей длиной в 8 кабельтовых. Над горизонтом одна за другой вспыхивали звёзды, над кормой матовой лампой висела ущербная луна, и редкие чайки тенью проносились за бортом катерка. Достигнув середины Байкала, заглушили мотор и огляделись. Сумерки уже совсем сгустились, и небесная сфера чётко обозначилась. Звёзды яркими лепешками низко и ослепительно сияли по краям неба. Почему-то над морем они всегда крупнее и ярче, чем над твёрдой земной, и совсем рядом. Мне вспомнились звёзды над Японским морем в тихую тёмную ночь. Мы, свободные от вахты матросы, стояли на палубе эскадренного миноносца и вспоминали далёкую Родину, над которой проплывают самые прекрасные облака. Над мачтами сияли звёзды, точно вылепленные из бриллиантов, и тогда я впервые удивился их блеску и невероятно крупному размеру: каждая казалась величиной с ладонь.

Теперь же наша скорлупка находилась посреди холодного сибирского моря, и усиливающаяся болтанка подстёгивала действовать быстрее и чётче. Море промашек не прощает. Я включил задний ход, и наш “Амур” на самых малых оборотах двинулся курсом на север. Мы по ветру стали вымётывать сети. Час спустя выметанную перетягу наглухо привязали к баку — носовой части катерка. Натянули тент, зажгли газовый подогрев и наконец-то расслабились, блаженно растянувшись на топчанах.

Каждый думал о своём. Я вспоминал милые серые глаза, полные тепла и затаённой печали. Когда-то давно мы были в начале пути, и нашим взорам открывались необозримые влекущие просторы такой замечательной и многообещающей жизни. А как теперь живётся той берёзовой чаще, где набирала свою силу душа?.. И как живётся той девочке, которая остановилась на бегу в начале своего жизненного пути между двух белых порывистых берёз, чтобы сфотографироваться? Почему-то её, светло-русую, виденную мной однажды на фотографии, я полюбил сразу и бесповоротно. Где она сейчас и что с нею случилось?.. Храни её, Господи!.. С этими мыслями под зыбку моря забылся я и заснул.

Проснулись мы далеко за полночь от частого сильного содрогания “Амура”. Дул северо-западный ветер “култук”, и ключья вспененных волн хлестали по тенту. Временами катерок накрывало волной, он натужно вздрагивал, кренился, черпал бортом воду, нам то и дело приходилось падать на противоположный борт, выравнивая крен. Куда нас несло, мы не ведали. Луна и звёзды давно скрылись во мраке снежных туч. Стоя по щиколотку в воде, я молил Николая Угодника о вспоможении, боясь, что ветер порвёт тент и от натяжения лопнет фал перетяги. Отрыв от сетей грозил явной гибелью. Но была ещё одна опасность — обледенение.

К счастью, порывы ветра послабли, Николай Угодник услышал наши молитвы, и мы погрелись горячим чаем. Термос завсегда был под рукой. Мой спарщик Александр нагрел кастрюлю воды и в шесть часов утра, надев прорезиненные плащи и перчатки, мы открыли тент и оттаяли лёд на баке. О, этот студеный обжигающий северо-западный ветер, до чего ж напорист! Все наши возможные и невозможные силы ушли на борьбу с ним. Перетяга выбиралась очень трудно, с постоянным напряжением жил, от холодной воды крочило пальцы, они нестерпимо ныли, то и дело приходилось окуна́ть их в кастрюлю с горячей водой. Нас качало, швыряло, обрызгивало, плащи покрывались ледяной коркой, но мы метр за метром, напрягая жилы, всё же тянули сети на борт. И так все утро. К полудню наконец-то

перетяга улеглась на дне катерка, и мы, запустив двигатель, пошли обратным курсом навстречу волне к дому, не чувствуя ни рук, ни ног. Наш улов составил 120 кг омуля. Мне, как батраку, досталась четвёртая часть.

До вечера я выгонял из тела озноб, был измождён до предела. И всё же, несмотря на пережитое, я был вполне счастлив. Морская стихия выпустила нас невредимыми.

## ЖУРАВЛИ И ЛАСТОЧКИ

— Смотри, Васька, журавли полетели.

Я взял бинокль из рук отца и, задрав голову, приставил к глазам. До слуха доносилось едва уловимое рыдающее многоголосье. В просини среди жидких облаков я отыскивал журавлиный клин, торопливо гребущий над горным перевалом.

— Пап, а что у них к хвостам прилепилось? Какие-то птички крылышками дрожат.

— Разглядел-таки... Это ласточки. У них, брат, взаимовыручка. Подумай, разве может такая маленькая птичка, как ласточка или, скажем, трысогузка, перелететь через моря и горы? — Ветром сбросит. Вот журавли и выручают. Птица мощная, две-три ласточки тянет и не чувствует. Перелетят на буксире через гибельные места, а уж после добираются сами.

Этот эпизод из далёкого детства запомнился мне на всю жизнь. С тех пор каждую осень с отлётом птиц я ощущаю мучительную утрату чего-то очень близкого и дорогого. Одно утешает, что по весне они вернуться. Но с каждым годом пролётных косяков становится всё меньше и меньше...

На дворе август. На Байкале говорят: “В июне ещё не лето, а в августе уже не лето”. К Успению деревенские касатки покинут родные гнёзда. Карнизы изб и стрехи сараев осиротеют, а вместе с ними осиротеет и мы. Казалось, ещё вчера вдоль улиц на проводах, точно ноты на нотном стане, неподвижно сидели ласточки, а сегодня, глянь, — ни одной. Они ещё какое-то время небольшими табунками живут на побережье Байкала, ловят над водой насекомых, которыми в эту пору изобилуют берега, но в деревню уже не залетают, ночуют где-нибудь под козырьками обрывистого берега или в лесу на болоте. С первыми журавлями откочёвывают на юг, по весне с ними же и возвращаются. Их прилёт означает стойкое бесповоротное тепло, равно, как и отлёт — конец сибирского лета.

В начале осени на рыбалке я не единожды самозабвенно наблюдал, как наши касатки то и дело чиркают брюшками по зеркалу воды, ловят насекомых, хаотично гоняются друг за другом, наращивая упругость в крыльях, выкручивают многосложные петли и зигзаги, а после, сливаясь с береговой чертой, исчезают. Но вскоре, откуда ни возьмись, шумно и весело появляется новая ватажка ласточек — и всё повторяется.

В то памятное утро отец посадил меня за вёсла, и я грёб в море к сетям. Туман едва рассеялся, было знобко и сыро. Мы отошли от берега мили на полторы. Отец, высматривая баклушку, направлял румпелем лодку строго по курсу. У ног покоилась двустовка на случай утино пролёта. Я в очередной раз машинально подался вперёд и занёс вёсла. Вдруг на правом весле, как по волшебству, появилась ласточка. В это время весло врезалось в воду. И ласточка в мгновение ока перелетела к отцу на колено. От удивления мы замерли, как бы соображая, что сие означает? Раздавшийся резкий пронзительный свист вывел нас из оцепенения. Над нами, вибрируя крыльями, завис пернатый хищник кобчик. Отец схватил ружьё и выстрелил. Кобчик ошалело понёсся к берегу и скрылся из виду. Тотчас вспорхнула и ласточка, выписав над нами полукруг, она полетела к своим и вскоре исчезла. Туман окончательно рассеялся, и солнце, брызнув лучами, засверкало по воде медными бликами.

— Ишь ты! — рассуждал отец. — Заигралась и попала под прицел кобчика. Мы, Васька, её случайные спасители. — Немного помолчав, радостно добавил: — У кого, как не у человека, искать ей защиты.

Бывало, в детстве забегаешь до густых вечерних сумерек, упадёшь в траву, а над тобою звёздное небо, и сколько в нём притягательной и в то же время пугающей тайны, и ты непостижными нитями, обо всём забыв, трепетно привязан к ней, привязан к этому мерцающему мирозданию, к Богу, о котором ты много слышал от мамы и знаешь, что Он всё видит и знает, и обмануть Его невозможно. Бог везде и во всём. Ты глядишь в небо, и твои детские чувства и мысли обращены именно к Нему. И только голос матери, зовущей тебя домой, нечаянно нарушает раздумья и возвращает из плена небесной тайны. Мама прижмёт к себе, поцелует, пригладит вихор на твоей русой голове и скажет: “Какой ты у меня забывчивый обещалкин, и когда научишься вовремя приходиться домой? А телогрейка где? Опять оставил на поляне?..”

Теперь той поляны нет, и нет того звёздного неба. Нет и мамы, и ты, вошедший в могучие лета, больше и чаще думаешь о земном, нежели о небесном. И только слёзная скорбь да светлая память, что очищают душу, возвращают к Богу. И ты смутно начинаешь осознавать, что ты есть дитя неба, а не земли. “Господи, помилуй мя грешного!”

Мне было пять или шесть лет, когда мимо окон пронесли мальчика, моего ровесника, утонувшего в колодце. После этого я долгое время панически боялся кладбища. Издали завидев чужеродную краску могильных оград и памятников, я наглухо смыкал веки и с закрытыми глазами, поднимая выше обычного колени, прошлёпывал злосчастное место, и только когда чувствовал, что оно позади, открывал глаза. Но сердце, готовое выпрыгнуть из груди, успокаивалось не сразу.

Сегодня на старом заброшенном кладбище воочию напоминает единственная железная ограда синего цвета, перевитая высоким бурьяном. Там в 1958 году была захоронена молодая учительница Марина Васильевна Лысова. Зимним вечером она переходила железнодорожные пути, нога скользнула с рельса и была зажата пером стрелочного перевода. Что же касается первых насельников погоста, — ни крестов, ни имён, ни плит надгробных, только дорога, которую, как по шнуру, пробрили они через лес к Байкалу, давая волю свежему бризу, поведает вопрошающему прохожему о жизни, простейшей в этом краю.

Именно той дорогой мимо кладбища приходилось мне наугад вслепую пробегать, гремя удилками уздечки, в поисках Камыша Гнедовича, как любил величать отец нашего любимого коня гнедой масти. Камыша я не боялся. Это был испытанный коняга с породистым ирбином и тавром на задней холке, после Великой Отечественной списанный с военной службы по возрасту и, согласно предписанию, переданный в лесничество моему отцу — бывшему фронтовику, к тому времени лесному обездчику. Камыш и под седлом ходил исправно, и в упряжи, и с плугом бороздой, — словом, не конь, а подарок свыше, любимец детворы и не только...

Многие обращались к отцу: кому дров подвезти, кому огород вспахать, кому свадьбу справить, кому похороны, — да мало ли какие ещё нужды и требы приходилось выполнять с Камышом по просьбе селян. Неиссягаемое терпение и миролюбие, особенно к детям, было заложено и воспитано в нём.

Мы, мальчишки, буквально висели на нём, лазили между ног, с подбрюшья сковыривали присохшие бляшки, чистили уши, расчёсывали гриву, на подъёме в гору привязывались к хвосту, в сенокос на волокушах наперебой по очереди, сидя на загривке, подвозили к зароду кошны. Любимым занятием у нас было чистить Камышу веки, выбирать впившуюся в мягкие места и между ресниц кровососную мошку. Камыш обычно подходил к тому, кто больше нравился, защищал губами руку и, мотнув склонённой головой, просил почистить. Пока выбирались кровососы, он стоял смиренно, только помаргивал, закрывая большие бездонные глаза, в которых отражались наши лица. От него всегда приятно пахло парной пашней и обкошенным лугом. Почистишь веки, аккуратно смажешь дёгтем, после, обхватив голову, прижмёшься щекой к мягким губам и снова к волокушам возить кошны.

В рыбацкой артели без Камыша тоже не обходилось. Его обязанностью было вытаскивать на каменистый берег четырёхвёсельную, гружённую выбранными снастями и рыбой лодку. Благо, если Байкал был зеркально спокойным, тогда можно было, не торопясь, привязать к упряжи канат, прикреплённый к носу лодки, и под крик “Пошёл!”, помогая конно, вытягивать её на берег. Но бывало и так: разыграется шторм, подойти к берегу с моря рискованно и опасно, не дай Бог, замешкаешься, того и гляди собьёт волной. И накроет перевёрнутой лодкой. Не единожды по пояс в воде вдвоём, втроём, напрягая жилы, приходилось рыбакам выправлять и удерживать поставленную лодку бортом к волне. Тогда-то и выручал Камыш. Кожиялся из последних конских сил, часто всхрапывая, под грохот прибоя он тянул и вытягивал гружёную, вдобавок захлёстанную волной лодку.

Конь был удивительно чистошлотным: из грязной или чужой посуды пить и есть его не заставишь. Я всегда с интересом наблюдал, как, выдув ноздрями рябь по воде и фыркнув, Камыш споро выпивал двенадцатилитровую бадью и, вскинув голову, просил ещё.

Помнится, до первой тони пять километров едем тряской грунтовкой. Камыш бежит рысцой, на ходу, приподняв хвост, густо обдаёт парным духом, под колёса телеги роняет шивяки. Отец, оборачиваясь, говорит: “Вишь, Васька, Камыш нас обдал луговинной, точно ладаном. Мы же морды не воротим, а поставь человека в оглобли... Этим, парень, и отличается травоядное от хищников да, вроде нас, всеядных. На вожжи, учись править”.

В шесть лет старшие братья посадили меня на коня, на загривок. Сначала Камыш шёл шагом, потом рысью, потом плавно понёс галопом через поле. От страха я судорожно вцепился в гриву и заорал. Камыш нёс, я орал, и вдруг подумал: “Чего ору?” — ведь не падаю же и, слившись с гривой, замолчал. У калитки Камыш осел и передал меня в руки отцу. Так случился мой первый урок верховой езды. К восьми-деяти годам я уже с уздечкой разыскивал у побережья Байкала пасущегося на медоносах коня. Подводил к валежине, взбирался на загривок и скакал к дому, где поджидал отец.

Однажды конь пасся на клеверах за кладбищем, и я его не привёл. Я слышал, как глухо боталило ботало на шее у Камыша, но ступить за кладбищенскую ограду было выше моих сил. Меня ожидала порка. Обычно за непослушание или провинность батяня выписывал основательно. Зажимал голову между ног, спускал штаны и по голому заду... Хорошо, если ремень был широким, не так больно, но если же под руку отцу попадал узкий кожаный поводок от собаки, который буквально вжигался в тело десятками ос, тогда поневоле заорёшь благим матом: “Папа, золотой-серебряный, прости, больше не буду”, — прикрывая при этом ладонями причинное место. Теперь понимаю, что мало порол, ещё много дури во мне осталось. Но именно в тот раз я впервые сознательно перед тем, как переступить порог избы, обратился к Богу, прося у Него защиты: “Боже, сделай так, чтобы папа не порол”. И — о чудо! — отец, выслушав меня, только и сказал: “Ладно, иди, помоги матери на огороде”.

Как-то, вернувшись с рыбалки, в пригоне я не увидел Камыша. По ограде, надвинув на глаза кепку, мрачный, будто чего потерял, суетливо шастал батяня. Я спросил: “Где Камыш?”

Отец виновато и скорбно взглянул на меня и дрогнувшим голосом проинёс: “Нет больше Камыша, увезли в Кушук на колбасу”

День тотчас померк, стал пустым и ненужным; и телега в ограде, и розвальни под навесом, на которых зимой вывозили сено, и волокуши у тына, бадья у колодца и ботало, сиротливо висевшее на гвозде, и вся конская упряжь враз потеряли всякий житейный смысл. Я забрался на сеновал, зарылся глубже в сено и горько заплакал. Надо мной в гнезде под крышей хлопотливо щebetала ласточка, кормила своих желторотиков, но и она была не в радость, хлопотала где-то далеко, по другую сторону жизни.

С той поры прошло много лет, но светлую живую память о Камыше, о коне моего детства я пронёс через всю жизнь. К конской тушёнке и конской колбасе не притронулся ни разу.

Под конец сентября с Байкала потянул стылый ветер с переходом на шквалистый, к вечеру хлестко загвоздил дождь, перейдя в мокрый снег, выбелил окоёмы прибрежных лесных озёр. Стаи перелётных северных гусей, прижатые непогодой, надрывным неумолчным гоготаньем оглашали болото и, словно живые тени, падали на воду, сбивались к заветренной стороне.

Анатолий любил эту пору, как опытный страстный охотник заранее сооружал скрадок на своём фамильном озерке, поджидал перелётную дичь. В послевоенные пятидесятые-шестидесятые годы на охотничьи ружья в органах МВД регистрация не велась и сейфов для их хранения не требовалось. Обычно в горницах они украшали настенные ковры вместе с трофейными рогами изюбра или сохатого, воронёным блеском стволов напоминали о значимости их владельца, порождали неудержимое любопытство у подростков. С четырнадцати лет по рекомендации старших выдавался охотничий билет. Первый памятный выстрел из дробового ружья Анатолий испытал в семь лет. Заряд был намного сильнее обычного, сосед поденул, и Толя от выстрела под хохот старших ребят полетел в одну сторону, ружьё — в другую. Однако страх он переборол и уже к десяти годам имел личное ружьё — подарок отца. Патронов из чужих рук не брал, заряжал всегда сам. К семнадцати он расстрелял полпуда пороха и на десять выстрелов девять уток брал с лёту. Так что утиной солонины семье хватало до весны.

Последнее ружьё, на котором остановился охотник, было тульского производства с инжекторами. После выстрела при переломе ружья автоматически выбрасывались гильзы, и Анатолий приноровился в верхний ствол ещё загонять патрон и отправлять заряд вдгон улетающей дичи. И всё-таки по его сноровке и азарту трёх выстрелов бывало недостаточно, особенно на гусиной охоте, и Анатолий решил приобрести пятизарядный автомат. Но автомат стоил дорого — два месяца работать, и он упросил продавца до завтра попридержать ружьё, пока соберёт нужную сумму. Но к вечеру того дня задурила непогодь, и, гонимые ветром, заскрипели в небесах свою вечную тоску по Родине первые вереницы гусей. Анатолий не стал дожидаться предрассветного часа, застегнул на поясе патронташ на двадцать четыре заряда, закинул на плечо испытанную переломку и, набросив на голову плащ-накидку, торопко зашагал из города в сторону родной деревни. К полуночи он свернул с тракта, пошёл лесом, осторожно прощупывая поступью тропу, которая змеилась к болоту. Сквозь стенования непогоды то и дело доносились гусиные окрики. При плохой видимости в бурю, чтобы не потерять друг друга, гуси непрерывно ведут переключку, невольно выдавая себя затаившемуся охотнику. Наконец, лес расступился, и Анатолий вышел на озерко к своему скрадку. Снежный окаём воды и лунный отсвет, сочившийся сквозь рваные тучи, на фоне мглистого неба едва очерчивали безлистые гривы перелесков. Издали донеслись обрывки гусиного гогота.

Охотник, затаив дыхание, напрягся и до боли в глазах стал вглядываться в омут неба. Гогот то приближался, то отдалялся, стало понятно: табун закружил. Анатолий, когда гоготанье приблизилось, втягивая в гортань воздух, призывно закричал по-гусиному. Переключка табуна стала усиливаться и приближаться. Охотник перевёл ружьё в исходное положение.

С правой стороны озерка, откуда доносился нарастающий гогот, над чертой перелеска тёмным пятном высмотрелся силуэт первой птицы — вожака, за ним второй, третий, а шестой замыкал вереницу. Как только гуси оказались напротив, Анатолий вскинул ружьё и ударил по вожаку. Вожак обрвался камнем, остальные судорожно замахав крыльями, зависли и плотно сгрудились. Второй заряд выбил двух гусей, Анатолий молниеносно переломил ружьё, в верхний ствол загнал патрон, выстрелил вдгон. Четвёртый гусь завалился набок, послышался шлепок о болотную кочку.

Звено из оставшихся двух живых, скорбно зарывдав, как показалось Анатолию, повернуло в сторону Байкала и, уносимое ветром, исчезло в кромешной темноте ночи. Сердце неуёмно билось, охотник резко с выдохом присел на корточки, сгасил волнение, немного успокоившись, поднялся, пошёл за

добычей. “А была бы у меня пятизарядка, — вдруг подумалось ему, — всех бы шестерых уложил”. При этой мысли чувство азартной радости внезапно сменилось ощущением подавленности. “Да что я, с голоду подыхаю?!” — спрашивал сам себя Анатолий. В ушах продолжало пронзительно звенеть скорбящее прощание, уносимой ветром пары. Если бы тогда он знал, что оно ещё долгие годы будет временами накатывать и преследовать его, вызывая неотвратимую грусть и раскаяние, — хоть лбом бейся об стену, а ничего уже не изменишь, — если бы знал... Но теперь Анатолий при свете фонарика подобрал краснолапых гуменников, рядом разложил на скамье и стал ждать следующих. Следующим налетел табун казарок, охотник автоматически вскинул ружьё, но палец на спусковой крючок не нажал, что-то сломалось в душе Анатолия, и впервые, провожая долгим взглядом кричащих гусей, он сказал про себя: “Летите, милые, летите!”

Утром в родительской избе мать, которая всю жизнь, сколько помнил Анатолий, молилась по ночам, прося Господа о милости, серьёзно и жалеючи глядя на сына, тихо сказала: “Толя, а ведь грех нынче охотиться. Сегодня большой праздник — день Воздвижения Честного Креста. Сегодня Господь всю тварь живую прощает... И человека...”

Пятизарядный автомат Анатолий так и не купил.